

И.Н.Сухих

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ: КРИТИКА КАК ПОЭТИКА (НЕСКОЛЬКО ПОЛОЖЕНИЙ)

Статья посвящена критической прозе О.Э.Мандельштама 1910—1920-х гг., рассмотренной в русле культуры Серебряного века как «система» и обозначенной как «эссеистическая критика». Сделан вывод о том, что критические работы поэта стали как фундаментом его лирического мира, так и важной самостоятельной областью творчества.

Ключевые слова: критическая проза, литературная ситуация, символизм, акмеизм, искусство, культура, слово

Критическая проза О.Э.Мандельштама остается на периферии исследовательских интересов, явно уступая не только поэзии, но и другим «прозам» («Шум времени», «Путешествие в Армению», «Четвертая проза»). «Любопытно, что литературоведы вместо благодарности автору, как бы старавшемуся облегчить их будущую работу, часто относились к мандельштамовским теоретическим построениям как к посягательствам на свою область. Как бы стараясь не замечать его текстов, они предпочитали плести собственную отсебятину, выдумывая несуществовавшие у него намерения [1, с. 22]; см., впрочем: [2; 3]; см. также работы, посвященные частным аспектам критики Мандельштама: [4-10]. Между тем, примерно двадцать пять коротких статей и несколько десятков еще более лапидарных рецензий (часто — почти аннотаций) — феномен, многое объясняющий и в поэзии Мандельштама, и в литературной ситуации Серебряного века, и, наконец, в природе литературно-критической деятельности. Оставив в стороне проблему генезиса мандельштамовских идей (А.Бергсон, Вяч. Иванов, А.Белый), сосредоточимся на выявлении их *системы*.

Мандельштам относится к той линии, которая, кажется, сформировалась только в русской культуре Серебряного века и которую можно обозначить как *эссеистическую критику*, включающую как профессиональную критику / журналистику (В.В.Розанов, Ю.И.Айхенвальд, К.И.Чуковский), так и писательскую критику (И.Ф.Анненский, А.А.Блок, М.И.Цветаева).

В большинстве эссе Мандельштама ключевая проблема, рефлексивная доминанта обозначена уже в заглавии («Утро акмеизма», «О собеседнике», «О природе слова», «Слово и культура», «Конец романа», «Гуманизм и современность», «Литературная Москва. Рождение фавны»). Однако и в других, персональных («Франсуа Виллон», «Петр Чаадаев», «Заметки о Шенье», «А.А.Блок»), тематических («Девятнадцатый век») или «метафорических» («Пшеница человеческая», «Выпад», «Барсучья нора» — повторная публикация статьи о Блоке) случаях содержание эссе практически всегда определяет проблемная доминанта, *мысль-эссенция*, выраженная, однако, не прямо, а метафорически. Поэтому, если некоторые программные тексты Мандельштама, можно определить как *поэтические трактаты* [см.: 11, с. 141-148], то это не просто эссеистическая, но — *поэтическая проза*, в которой, однако, представлена довольно четкая — и акмеистски ориентированная — система понимания литературы.

Из общеэстетических проблем поэта-критика больше всего занимают две: природа слова и коммуникативный характер искусства.

В соответствии с ранними установками акмеизма он чаще всего отождествляет *слово* с *предметом* и представляет его вещественным, наглядным, осязаемым, возводя его истоки к русскому эллинизму.

«Слово — плоть и хлеб» [12, т. 2, с. 53] («Слово и культура», 1920).

«Русский язык — язык эллинистический. По целому ряду исторических условий живые силы эллинской культуры, уступив Запад латинским влияниям и не надолго загасиваясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самобытную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью. <...> Эллинистическую природу русского языка можно отождествлять с его бытийственностью. Слово в эллинистическом понимании есть плоть деятельная, разрешающаяся в событие» [12, т. 2, с. 68] («О природе слова», 1921—1922).

Однако поэтическая поэтика Мандельштама пренебрегает формальной логикой. Рядом с определением слова-плоти появляется вполне символистский лозунг, призыв к пренебрежению плотью во имя духа.

«Не требуйте от поэзии сугубой вещности, конкретности, материальности. Это тот же революционный голод. Сомнение Фомы. К чему обязательно осязать перстами? А главное, зачем отождествлять слово с вещью, с травой, с предметом, который оно обозначает?

Разве вещь хозяин слова? Слово — Психея. Живое слово не обозначает предметы, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещь, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела» [12, т. 2, с. 53] («Слово и культура»).

В художественной реальности Мандельштам обычно делает выбор между словом-плотью и словом-Психеей во имя первого. С этим связаны и заглавие его первого сборника («Камень»), и постоянные отсылки к архитектуре и готике, и определение «каждого слова» словаря Даля как *орешка Акрополя, маленького Кремля, крылатой крепости* (какая звуковая метафора-оксюморон!) номинализма [12, т. 2, с. 74] («О природе слова»).

Особенностью поэтической критики является предпочтение Мандельштамом сравнения / метафоры строгим определениям.

«Слова в мире — гости, так же как и вещи, и еще неизвестно, кто раньше пришел, а самое удобное и в научном смысле правильное — рассматривать слово как образ, то есть словесное представление. Этим путем устраняется вопрос о форме и содержании, буде фонетика — форма, всё остальное — содержание. Устраняется и вопрос о том, что первичнее — значимость слова или его звучащая природа. Словесное представление — сложный комплекс явлений, связь, “система”. Значимость слова можно рассматривать как свечу, горящую изнутри в бумажном фонаре, и обратно, звуковое представление, так называемая фонема, может быть помещена внутри значимости, как та же самая свеча в том же самом фонаре» [12, т. 2, с. 78] («О природе слова»).

«Научный смысл» и «система» здесь запряты между *словом-гостем* и *значением-фонарем*. Эта предметность отменяет, гасит определение и требует дополнительной разгадки, собственного перевода на язык логики.

В отличие от слова-плоти — Психеи, коммуникативная природа искусства понимается Мандельштамом вполне однозначно, хотя тоже определяется поэтически, с опорой на стихотворение Баратынского «Мой дар убог, и голос мой негромок...», предваренное очередным развернутым сравнением, но подпертое вполне логическим определением.

«Морепплаватель в критическую минуту бросает в воды океана запечатанную бутылку с именем своим и описанием своей судьбы. Спустя долгие годы, скитаясь по дюнам, я нахожу ее в песке, прочитываю письмо, узнаю дату события, последнюю волю погибшего. Я имел право сделать это. Я не распечатал чужого письма. Письмо, запечатанное в бутылке, адресовано тому, кто найдет ее. Нашел я. Значит, я и есть таинственный адресат. <...> Читая стихотворение Баратынского, я испытываю то же самое чувство, как если бы в мои руки попала такая бутылка» [12, т. 2, с. 7] («О собеседнике»).

«Нет лирики без диалога. <...> Итак, если отдельные стихотворения (в форме посланий или посвящений) и могут обращаться к конкретным лицам, поэзия, как целое, всегда направляется к более или менее далекому, неизвестному адресату, в существовании которого поэт не может сомневаться, не усумнившись в себе. Только реальность может вызвать к жизни другую реальность» [12, т. 2, с. 11-12]. Такого адресата Мандельштам называет *провиденциальным собеседником*, опять-таки обращаясь к нему — чрез четвертьвековую бездну — не только в критической прозе, но и в лирике. «Читателя! советчика! врача! На лестнице колючей разговора б!» [12, т. 1, с. 221] («Куда мне деться в этом январе?..», 1 февраля 1937).

Статья «О собеседнике» в первоначальном варианте называлась вполне учено: «О “моменте общения” в художественном творчестве».

Историко-литературные построения Мандельштама определяются ожидаемой оппозицией: символизм — акмеизм. Хотя поэт, как и вообще все акмеистское движение, отдал дань символизму, ему принадлежат, пожалуй, наиболее резкие характеристики конкурирующего направления.

«Мишурная мантия ложного символизма совершенно вылиняла, потеряла всякий вид и по справедливости вызывает веселую улыбку поэтической молодежи» [12, т. 2, с. 44] («О современной поэзии», 1916).

«Любителям русского символизма невдомек, что это огромный маховый гриб на болоте девяностых годов, нарядный и множеством риз облаченный» [12, т. 2, с. 56] («Письмо о русской поэзии», 1922).

Наиболее зло, развернуто, блистательно-пародийно негативный портрет символизма дан в трактате «О природе слова» (1922).

«Возьмем, к примеру, розу и солнце, голубку и девушку. Для символиста ни один из этих образов сам по себе не интересен, а роза — подобие солнца, солнце — подобие розы, голубка — подобие девушки, а девушка — подобие голубки. Образы выпотрошены, как чучела, и набиты чужим содержанием. Вместо символического “леса соответствий” — чучельная мастерская.

Вот куда приводит профессиональный символизм. Восприятие деморализовано. Ничего настоящего, подлинного. Страшный контрданс “соответствий”, кивающих друг на друга. Вечное подмигивание. Ни одного ясного слова, только намеки, недоговаривания. Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой. <...>

Русский лжесимволизм действительно лжесимволизм. Журдень открыл на старости лет, что он говорил всю жизнь прозой. Русские символисты открыли такую же прозу — изначальную, образную природу слова. Они запечатлели все слова, все образы, предназначив их исключительно для литургического употребления. Получилось крайне неудобно — ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь.

Человек больше не хозяин у себя дома. Ему приходится жить не то в церкви, не то в священной роще друидов, хозяйскому глазу человека не на чем отдохнуть, не на чем успокоиться. Вся утварь взбунтовалась. Метла просится на шабаш, печной горшок не хочет больше варить, а требует себе абсолютного назначения (как будто варить не абсолютное назначение). Хозяина выгнали из дому, и он больше не смеет в него войти» [12, т. 2, с. 76-78].

Альтернативные определения акмеизма, в большей степени, чем кружения вокруг слова, подчеркивают вещественную, живописную, конкретную установку метода.

«Акмеисты с благоговением поднимают таинственный тютчевский камень и кладут его в основу своего здания. <...> Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя — вот высшая

заповедь акмеизма. А=А: какая прекрасная поэтическая тема. Символизм томился, скучал законом тождества, акмеизм делает его своим лозунгом и предлагает его вместо сомнительного *a realibus ad realiora* < от реального к реальному >» [12, т. 2, с. 24, 25-26] («Утро акмеизма», 1912).

«Акмеизм возник из отталкивания: «Прочь от символизма, да здравствует живая роза!» — таков был его первоначальный лозунг» [12, т. 2, с. 79] («О природе слова»). Однако в других эссе 1920-х гг. резкость противопоставления сглаживается.

В «Буре и натиске» (1923) символизм и футуризм поняты как школы, демонстрировавшие первоначально резкую экспансию, бурю и натиск, а впоследствии вошедшие в свое «естественное русло». «Произошло, — считает Мандельштам, — то, что можно назвать сращением позвоночника¹ двух поэтических систем, двух поэтических эпох» [12, т. 2, с. 128].

И далее в статье-обзоре кратко, объективно, хотя не без иронических обертонов, характеризуются «отец русского символизма» Бальмонт, «самый последовательный и умелый из всех русских символистов» Брюсов, а также Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Сологуб, Анненский. Далее, в этом колесе обозрения появляются «типичные младшие поэты» Кузмин и Ходасевич, «сложнейшее явление литературного эклектизма», «собиратель русского стиха» Блок, «идиотический Эйнштейн» Хлебников, «поэт здравого смысла» Маяковский, наконец, «поэт-инженер, специалист, организатор труда» Асеев.

В «Выпаде» (1924) символизм определен как «лоно всей новой русской поэзии» [12, т. 2, с. 150], и литературная картина Серебряного века приобретает уже не контрастно-разделяющий, а общий интегрирующий характер. «О чудовищная неблагодарность Маяковскому, Хлебникову, Асееву, Вячеславу Иванову, Сологубу, Ахматовой, Пастернаку, Гумилеву, Ходасевичу, уж на что они не похожи друг на друга, из разной глины. Ведь они все русские поэты не на вчера, не на сегодня, а навсегда» [12, т. 2, с. 149].

Полемизируя и проводя границы в середине десятих годов, через десятилетие Мандельштам уже видит русскую поэзию поверх прежних барьеров в ее общем противостоянии новой реальности двадцатого века. Символисты, футуристы, акмеисты оказываются в одном ряду *русских поэтов навсегда*.

Подобный ход мысли, возможно, связан с парадоксальностью взгляда Мандельштама на прогресс. С его точки зрения прогресса в искусстве не существует.

«Теория прогресса в литературе — самый грубый, самый отвратительный вид школьного невежества. Литературные формы сменяются, одни формы уступают место другим. Но каждая смена, каждое такое приобретение сопровождается утратой, потерей. Никакого “лучше”, никакого прогресса в литературе быть не может — просто потому, что нет никакой литературной машины и нет старта, куда нужно скорее других доскакать.

Даже к манере и форме отдельных писателей неприменима эта бессмысленная теория улучшения, — здесь каждое приобретение также сопровождается утратой и потерей. Где у Толстого, усвоившего в “Анне Карениной” психологическую мощь и конструктивность флоровского романа, звериное чутье и физиологическая интуиция “Войны и мира”? Где у автора “Войны и мира” прозрачность формы, “кларизм” “Детства” и “Отрочества”? Автор “Бориса Годунова”, если бы и хотел, не мог повторить лицейских стихов, совершенно как теперь никто не напишет державинской оды. А кому что больше нравится — дело другое. Подобно тому, как существуют две геометрии — Эвклида и Лобачевского, возможны две истории литературы, написанные в двух ключах: одна — говорящая только о приобретениях, другая — только об утратах, и обе будут говорить об одном и том же» [12, т. 2, с. 66-67] («О природе слова»).

Тем не менее, во многих случаях Мандельштам оперирует понятиями век, эпоха: оценивает, сравнивает, противопоставляет.

Многое в его культурологических воззрениях определяют эллинизм и средневековье, которые оказываются, впрочем, как раз не строгими понятиями, а, скорее, индивидуальными метафорами.

Как уже цитировано выше, Мандельштам считает русский язык эллинистическим. Но эллинизм для него — не последняя эпоха классической греческой культуры (III—I вв. до н. э.), а домашность, личный характер отношения к вещам, круг жизненно важных патриархальных предметов, сопровождающих человека от рождения до смерти: «Эллинизм — это печной горшок, ухват, крынка с молоком, это домашняя утварь, посуда, всё окружение тела... <...> Эллинизм — это всякая печка, около которой сидит человек и ценит ее тепло как родственное его внутреннему теплу. Наконец, эллинизм — это могильная ладья египетских покойников, в которую кладется всё нужное для продолжения земного странствия человека, вплоть до ароматического кувшина, зеркальца и гребня» [12, т. 2, с. 75-76] («О природе слова»).

Аналогично и средневековье для Мандельштама — не темные века торжества религиозных воззрений и предрассудков, а, напротив, «физиологически-гениальная» [12, т. 2, с. 25] эпоха, продолжающая эллинизм, но вносящая в историю порядок, структуру, меру.

«У средневековья была своя душа и было подлинное знание античности, и не только по грамотности, но и по любовному воспроизведению классического мира оно оставляет далеко позади век Просвещения» [12, т. 2, с. 94] («Заметки о Шенье», 1914, 1922).

«Средневековье дорого нам потому, что обладало в высокой степени чувством граней и перегородок.

¹ И здесь критика и лирика Мандельштама обнаруживают общую систему образообращения: «Но разбит твой позвоночник, / Мой прекрасный жалкий век!» [12, т. 1, с. 128] («Век», 1922).

Оно никогда не смешивало различных планов и к потустороннему относилось с огромной сдержанностью. Благородная смесь рассудочности и мистики и ощущение мира как живого равновесия роднит нас с этой эпохой и побуждает черпать силы в произведениях, возникших на романской почве около 1200 года [12, т. 2, с. 26] («Утро акмеизма»).

«Средневековый человек считал себя в мировом здании столь же необходимым и связанным, как любой камень в готической постройке, с достоинством выносящий давление соседей и входящий неизбежной ставкой в общую игру сил. Служить не только значило быть деятельным для общего блага. Бессознательно средневековый человек считал службой, своего рода подвигом неприкрашенный факт своего существования» [12, т. 2, с. 21] («Франсуа Виллон», 1912).

Пользуясь личными представлениями об античности и средневековье, Мандельштам выводит на очную ставку ближайшие века.

Век Разума, Просвещения для Мандельштама, напротив, — эпоха забвения античности, рационализма, буддийской отрешенности.

«Восемнадцатый век утратил прямую связь с нравственным сознанием античного мира. <...> Да, связь с античностью подлинной для восемнадцатого века была потеряна, и гораздо сильнее была связь с омертвевшими формами схоластической казуистики, так что век Разума является прямым наследником схоластики со своим рационализмом, аллегорическим мышлением, персонификацией идей, совершенно во вкусе старофранцузской поэтики» [12, т. 2, с. 94] («Заметки о Шенье»).

Еще хуже оказывается век следующий: «Деятнадцатый век был проводником буддийского влияния в европейской культуре. Он был носителем чужого, враждебного и могущественного начала, с которым боролась вся наша история — активная, деятельная, насквозь диалектическая, живая борьба сил, оплодотворяющих друг друга. Он был колыбелью Нирваны, не пропускавшим ни одного луча активного познания...» [12, т. 2, с. 116] («Деятнадцатый век», 1922).

Мандельштам обнаруживает «червоточины» девятнадцатого века: безудержная познавательность, переходящая в релятивизм в науке, «молекулярность» танки у Флобера и братьев Гонкуров в искусстве. Однако все эти недостатки отступают перед угрозами наступающего века.

В «Конце романа» (1922), одной из главных работ Мандельштама, разговор о литературе на самом деле превращается в катастрофическую концепцию двадцатого века: «Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз, и законами их деятельности, как столкновением шаров на бильярдном поле, управляет один принцип: угол падения равен углу отражения. Человек без биографии не может быть тематическим стержнем романа, и роман, с другой стороны, немислим без интереса к отдельной человеческой судьбе, фабуле и всему, что ей сопутствует. Кроме того, интерес к психологической мотивировке, куда так искусно спасался упадочный роман, уже предчувствуя свою гибель, в корне подорван и дискредитирован наступившим бессилием психологических мотивов перед реальными силами, чья расправа с психологической мотивировкой час от часу становится более жестокой. Самое понятие действия для личности подменяется другим, более содержательным социально, понятием приспособления.

Современный роман сразу лишился и фабулы, то есть действующей в принадлежащем ей времени личности, и психологии, так как она не обосновывает уже никаких действий. Любопытно, что кризис романа, то есть фабулы, насыщенной временем, совпал с провозглашением принципа относительности Эйнштейном» [12, т. 2, с. 124].

Конец романа, на самом деле, оборачивается крушением гуманизма, безмерным понижением значения личности.

Литературные надежды Мандельштама связаны с возвращением фабулы, «большого повествовательного дыхания», то есть, в сущности, романа, но уже не упадочного психологического, а романа с интригой, напоминающего средневековые жизнеутверждающие новеллы. «Ведь хорошая, интересная фабула — это признак уважения писателя к своему герою» [12, т. 3, с. 177] («Письмо тов. Кочину»). «За советского Майн Рида!» — бросает лозунг Мандельштам, совпадая в этом с формалистами и Серапионовыми братьями [12, т. 3, с. 264] («О переводах», 1929).

В историческом и культурном аспектах он все-таки надеется на Просвещение, исторический разум предшествующего столетия. «В отношении к этому новому веку, огромному и жестоковейному, мы являемся колонизаторами. Европеизировать и гуманизировать двадцатое столетие, согреть его телеологическим теплом — вот задача потерпевших крушение выходцев девятнадцатого века, волею судеб заброшенных на новый исторический материк.

И в этой работе легче опереться не на вчерашний, а на позавчерашний исторический день. Элементарные формулы, общие понятия восемнадцатого столетия могут снова пригодиться. “Энциклопедии скептический причет”, правовой дух естественного договора, столь высокомерно осмеянный наивный материализм, схематический разум, дух целесообразности — еще послужат человечеству. Теперь не время бояться рационализма. Иррациональный корень надвигающейся эпохи, гигантский неизвлекаемый корень из двух, подобно каменному храму чужого бога, отбрасывает на нас свою тень. В такие дни разум, *ratio* энциклопедистов, — священный огонь Прометея» [12, т. 2, с. 119] («Деятнадцатый век»).

Масштаб жестоковейности нового столетия в начале двадцатых годов Мандельштам не угадал. О веке-волкодаве он будет писать уже в тридцатые годы. О новых литературных нравах — в «Четвертой прозе».

Критика же стала как фундаментом его лирического мира, так и важной самостоятельной областью творчества.

1. Иванов Вяч.Вс. Мандельштам и наше будущее // Мандельштам О.Э. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. М., 2010. С. 3-40.
2. Поляков М. Критическая проза О.Мандельштама // Мандельштам О.Э. Слово и культура. М., 1987. С. 3-36.
3. Кочетова С.А. Литературная критика О.Мандельштама. Горловка, 2003. 180 с.
4. Иванов Вяч.Вс. Лунц и Мандельштам: фабула у Серапионовых братьев // *Revue des études slaves*. 1998. Vol. 70. № 3. P. 613-617.
5. Брюханов А.Г. «Три сестры» Ефима Звенияцкого как реплика Осипу Мандельштаму. К вопросу об «античеховской» позиции поэта // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2012. № 3(19). С. 89-95.
6. Лекманов О.А. Мандельштам и символизм // Лекманов О.А. Книга об акмеизме. Томск, 2000. С. 578-583.
7. Сухих И.Н. Осип Мандельштам: поэзия как поэтика (Несколько положений) // Художественные традиции в русской литературе XX—XXI веков: Сб. ст. и мат-лов IV Междунар. науч. конф. «Мусатовские чтения-2014». Великий Новгород, 26—28 сентября 2013 г. Великий Новгород, 2014. С. 141-148.
8. Тоддес Е.А. Мандельштам и опоязовская филология // Тынниковский сборник: Вторые Тынниковские чтения. Рига, 1986. С. 78-102.
9. Тоддес Е.А. Статья «Пшеница человеческая» в творчестве Мандельштама начала 20-х годов // Тынниковский сборник. Третьи Тынниковские чтения. Рига, 1988. С. 184-213.
10. Цивьян Т.В. К анализу «акмеистической прозы»: Мандельштам // Осип Мандельштам. К 100-летию со дня рождения. Поэтика и текстология. Материалы научной конференции 27—29 декабря 1991 г. М., 1991. С. 44-46.
11. Шиндина О.В. К отзывам статьи Мандельштама «Слово и культура» в художественном мире Вагинова // Осип Мандельштам. К 100-летию со дня рождения. Поэтика и текстология. Мат-лы науч. конф. 27—29 декабря 1991 г. М., 1991. С. 68-73.
12. Мандельштам О.Э. Собр. соч.: В 3 т. М., 2010. Т. 1-3.

References

1. Ivanov Vyach.Vs. Mandel'shtam i nashe budushchee [Mandel'shtam and our future]. Mandel'shtam O.Eh. Works in 3 vols, vol. 1. Moscow, 2010, pp. 3-40.
2. Polyakov M. Kriticheskaya proza O.Mandel'shtama [Osip Mandel'shtam's critical prose]. In: Mandel'shtam O.Eh. Slovo i kul'tura. Moscow, 1987, pp. 3-36.
3. Kochetova S.A. Literaturnaya kritika O.Mandel'shtama [Osip Mandel'shtam's literary criticism]. Gorlovka, 2003. 180 p.
4. Ivanov Vyach.Vs. Lunts i Mandel'shtam: fabula u Serapionovykh brat'ev [Lunts and Mandel'shtam: How the Serapion Brothers see a story line]. *Revue des études slaves*, 1998, vol. 70, no. 3, pp. 613-617.
5. Bryukhanov A.G. "Tri sestry" Efima Zvenyatskogo kak replika Osipu Mandel'shtamu. K voprosu ob "antichkovskoy" pozitsii poeheta [Efim Zvenyatskiy's staging of "Three sisters" as an answer to Osip Mandel'shtam: To Mandel'shtam's anti-Chekhov stance]. *Gumanitarnye issledovaniya v Vostochnoy Sibiri i na Dal'nem Vostoke*, 2012, no. 3 (19), pp. 89-95.
6. Lekmanov O.A. Mandel'shtam i simbolizm [Mandel'shtam and symbolism]. In: Lekmanov O.A. Kniga ob akmeizme. Tomsk, 2000, pp. 578-583.
7. Sukhikh I.N. Osip Mandel'shtam: poehziya kak poehtika (Neskol'ko polozheniy) [Osip Mandel'shtam: poetry as poetics (some propositions)]. Proc. of "Musatovskie chteniya- IV (2014)". Velikiy Novgorod, 2014, pp. 141-148.
8. Toddes E.A. Mandel'shtam i opoyazovskaya filologiya [Mandel'shtam and the OPOJAZ philology]. *Tynyanovskiy sbornik: Vtorye Tynyanovskie chteniya*. Riga, 1986, pp. 78-102.
9. Toddes E.A. Stat'ya "Pshenitsa chelovecheskaya" v tvorchestve Mandel'shtama nachala 20-kh godov [The article "Humankind as Grains of Wheat" in Mandel'shtam's creative work at the beginning of the 1920s]. *Tynyanovskiy sbornik. Tret'i Tynyanovskie chteniya*. Riga, 1988, pp. 184-213.
10. Tsiv'yan T.V. K analizu "akmeisticheskoy prozy": Mandel'shtam [Towards the analysis of "acmeist prose": Mandel'shtam]. Proc. of "Osip Mandel'shtam. K 100-letiyu so dnya rozhdeniya. Poetika i tekstologiya". Moscow, 1991, pp. 44-46.
11. Shindina O.V. K otzvukam stat'i Mandel'shtama "Slovo i kul'tura" v khudozhestvennom mire Vaginova [On the reflection of Mandel'shtam's article "The Word and the Culture" in the creative world of Vaginov]. Proc. of "Osip Mandel'shtam. K 100-letiyu so dnya rozhdeniya. Poetika i tekstologiya". Moscow, 1991, pp. 68-73.
12. Mandel'shtam O.Eh. Works in 3 vols. Moscow, 2010, vols. 1-3.

Sukhikh I.N. Osip Mandel'shtam: criticism as poetics (some propositions). This article is devoted to Osip Mandel'shtam's critical prose of 1910—1920s, considered in the mainstream of the Silver age culture as a "system" and designated as "essayistic criticism". It is concluded that the poet's critical works became both the foundation of his lyrical world and an important independent field of creative work.

Keywords: critical prose, literary situation, symbolism, acmeism, art, culture, word.

Сведения об авторе. И.Н.Сухих — доктор филологических наук, профессор, кафедра истории русской литературы, Санкт-Петербургский государственный университет, igorlit50@mail.ru.

Статья публикуется впервые. Поступила в редакцию 15.10.2018.